

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ



Татьяна Соломаха.

У меня на письменном столе лежит тёмная папка с тремя тонкими тетрадями, исписанными с начала и до конца. В первой тетради ровный, крупный чёткий почерк, во второй – мелкий, точно бисерный, в третьей – размашистый, женский, с недописанными окончаниями слов.

К внутренней стороне папки прикреплена небольшая фотографическая карточка. Я долго вглядываюсь в чуть склонённую набок голову с красивым тонким девичьим лицом, обрамлённым кудрявыми завитками, в слегка прищуренные лукавые глаза и такую же усмешку на небольших узких губах. На девушке вышитый украинский костюм, вся грудь увешана бусами, а через плечо, до небольших щёгольских туфелек на высоких каблуках, свисает толстая кудрявая коса.

И я хочу представить себе другое лицо, бледное и измученное, с большими, строгими, горящими глазами, лицо «милой сестрёнки», как называл её брат Николай, «так славно сумевшей умереть за дело революции».

И я снова открываю тетради и снова читаю эту страшную незабываемую историю.

«Как мне ни стыдно, нервы не выдержали,
и заплакал слезами сейчас, в час ночи, старый
партизан, брат Татьяны, Николай Соломаха.
Жалко мне стало её, дорогую сестру».
(Из писем Николая Соломахи.)

Мы дружно жили с Таней.

Помню я её ещё совсем маленькой девчонкой, в коротком платьице, босоногую, загорелую, с небольшой косицей на затылке.

Зимой она была занята в школе, вечера просиживала за уроками, а весной и летом нас нельзя было удержать дома. Мы вскакивали на рассвете, забирали по ломтю хлеба, удочки и бежали на речку ловить раков и рыб.

Это было нашим любимым занятием. Мы садились на ещё мокрую, росистую траву и, не спуская взгляда с поплавок, часами смотрели на медленно текущую воду Урупа. Иногда же Таня отбрасывала удочки, и мы начинали игры, которые выдумывала она. То мы были индейцами, то ехали в неведомые страны на воздушном корабле, которым управляла она, то, бродя по колена в болоте, отыскивали старые разрушенные города. Я беспрекословно подчинялся сестре. Единственно, кто мешал жить, — ребята-казачата. Таня рассказывала мне, что они не давали ей прохода в школе и дразнили, называли мужичкой. Часто Таня возвращалась домой с подбитым глазом, с расцарапанным лицом и с синяками на худеньких руках. Я расспрашивал её о том, что случилось, и она, смеясь, рассказывала, что дралась с мальчишками. Только от ребят я узнавал подробности. Когда Таню дразнили, она бросалась на казачат с кулаками. Но отцу на мальчишек она никогда не жаловалась.

Однажды мы пошли с ней купаться на реку. День был ясный, ветерок колыхал ковыль, и вся степь блестела под солнечными лучами. Мы долго плавали, Таня визжала, брызгалась, и стоило мне выйти из воды, как она бросалась ко мне, валила на песок и всего обмазывала тёмной липкой грязью.

А уже позже, когда мы занялись рыбной ловлей, к реке подошли пять казачат.

— А ну, выкидывайтесь вон! — закричал старший, в тёмной кубанке.

Таня оглянулась, и я видел, как загорелись её щёки.

— Если хочешь купаться, иди ниже, а нам торопиться некуда, — сердито бросила она.

— Вот ещё новость! — снова закричал казачок. Вы тут с себя мужицкую грязь будете смывать, а мы после вас пачкаться станем. Не пойдёте — всё равно выгоним!

Я не успел опомниться, как Таня схватила камень и бросила его в стоящих ребят. Они разбежались. От них посыпался град камней.

Мы бросились за бугор. Я подносил камни, Таня, целясь, кидала их в подступающих ребят. Кто-то подбил ей глаз, кровь тоненькой струйкой бежала по щеке, но она не обращала на неё внимания и с азартом «отстреливалась». Иногда она поворачивала голову ко мне и коротко отдавала приказания:

— Давай камней побольше, скорей тащи!

Нам всё-таки пришлось отступить.

Я бежал первым — так приказала Таня, — она же, прячась за бугры и кусты, медленно отходила назад, всё время отбиваясь камнями.

Только у нашего дома мы присели отдохнуть. Потирая ушибленные места и размазывая по лицу кровь, она строго и внушительно говорила:

— Никогда не сдавайся в плен. Уж если дело плохо, лучше отступить, но только так, чтобы им было несладко.

И, немного подумав, добавила:

— Хоть девчонок не берут в армию, а я, когда вырасту, обязательно буду командиром.

□

Хороша степь, душиста по ночам, полна треска кузнечиков и щебетанья птиц в ясный, хороший день. Выйдешь за околицу, глянешь кругом — и нет конца зелени, убегающей к голубому горизонту. А по ночам степь звенит стрекотом цикад. Раскинулись в ней станицы белыми добротными казачьими домами, с покривившимися хатами казачьей и иногородней бедноты, со стуком молота у кузниц, с песнями и гармошками в сумерках. У отца разрасталась семья. Днем он учил станичных ребятишек, а затем до поздней ночи возился в сарае, в огороде и в жужжащем разноголосом пчельнике.

А в летнюю пору от степи несся запах сена, и огромные возы, запряженные ленивыми волами, медленно двигались к станице.

□

По вечерам вся семья собиралась у стола.

Отец шил обувь, мать чинила белье. Мы, ребята, затаив дыхание, не спускали взгляда с Тани. Подперев ладонью голову, она читала вслух. Изредка отец отрывался от работы и долго, пристально, с особой любовью смотрел на дочь, и мне казалось, что он больше всех детей любит Таню. Но я не испытывал зависти. Так и должно было быть.

□

Когда Тане исполнилось двенадцать лет, она окончила сельскую школу, и отец увез ее учиться в Армавирскую гимназию.

Я долго стоял за околицей. Уже скрылась пыль от повозки, а я все еще смотрел на пожелтевшую степь.

Сколько бы я отдал за то, чтобы услышать рядом с собой громкий, залихватый смех сестры!

Лето для меня стало самым лучшим временем года, потому что на каникулы приезжала Таня. Как много интересного рассказывала она! И город и весь мир вставали передо мной необычайно яркими. Сначала Таня казалась мне чужой в темном коричневом платье, с черным фартуком, но потом мать бережливо укладывала форму в сундук, и снова со мной была прежняя Таня.

В один из приездов она особенно увлекалась собиранием коллекций для гимназии. Я ходил с ней за цветами, помогал сушить их в речном песке, ловил бабочек и доставал яйца из птичьих гнезд.

Как-то мы вместе с ней пошли за яйцами. В одном месте я нашел такие, какие особенно нравились Тане. Но птица не хотела отдавать их. Тогда, недолго думая, я свернул ей голову и, набрав в шапку яйца, с торжествующим видом спустился вниз. У дерева уже стояла Таня.

— Ты зачем гнездо разорил? — сердито спросила она. — Когда берешь одно яйцо — мать не замечает. А ты что сделал?

Она увидела птицу со свернутой головой, нагнулась к ней и осторожно погладила пальцами взъерошенные, взмокшие перья. Я не знал, куда девать покрасневшее лицо. — Гадкий ты, злой, жестокий! — кричала Таня со слезами в голосе. — Не люблю я тебя! — и вдруг заметила мое красное, вспотевшее лицо.

Она присела на землю, ножиком выкопала ямку, положила в нее птицу и засыпала ее землей.

— Никогда не надо зря проливать кровь, — тихо сказала она, затем встала и пошла в глубь леса.

Несколько часов я не находил себе места. Но к вечеру мы снова помирились и, усевшись на завалинке, долго пели песни.

□

Я очень смутно помню, как у нас в станице проходил пятый год. Одно ярко осталось в памяти. По широкой улице шли станичники. Люди были украшены красными бантами, возбужденно пели и что-то громко кричали. А впереди всех шел отец, и высоко над головой его полыхался красный флаг. Я никогда отца не видел таким молодым и красивым. И странно было то, что казаки шли под руку с иногородними, батраки — вместе со своими хозяевами.

В это лето я не узнал Тани. Она вытянулась, из угловатого подростка превратилась в высокую, стройную девушку с толстой и длинной косой.

Первую ночь Таня до рассвета просидела с отцом. Лежа на кровати и затаив дыхание, я прислушивался к их разговору. Таня спрашивала о революции, о гнете царского правительства. Отец раскрывал толстую тетрадь и читал из нее свои записи.

— Душит меня станица, — впервые говорил он с дочерью как с равной, — в город надо. Крестьянство без рабочих ничего не сможет сделать. А в город не возьмут меня. Экзамена на учителя я не сдавал, а там требования большие. Тяжело в станице. Когда она еще раскачается.

Таня молча слушала. Впервые я увидел ее такой серьезной.

На другой день она взяла у отца какую-то книжку и долго ходила с ней по степи. Я издали наблюдал за сестрой, боясь помешать, и мне казалось, что я потерял друга. Но через несколько дней она позвала меня с собой в лес. Мы улеглись на высокую душистую траву, и Таня стала тихо рассказывать о поэте, которого звали Шевченко. Она говорила о том, как он боролся всю жизнь за угнетенный народ, как его мучили и

преследовали, а он никого не боялся и писал свои прекрасные стихи, которые народ перекладывал на песни.

Я никогда не видел Таню в таком возбуждении. Она приподнялась на локте и, глядя в уходящую степную даль, стала тихо декламировать стихи. И такая сила и настойчивость были в ее голосе, решимость в широко открытых глазах, что мне стало страшно за нее.

Потом мы долго молча лежали. Я приподнялся и заглянул ей в лицо. Оно было бледно и строго.

— Таня, о чем ты думаешь? — робко спросил я.

— О чем? — вдруг улыбнулась она. — Так вот, смотрю в далекое-далекое небо, и мир мне кажется огромным и безбрежным. А когда по небу плывут облака, мне хочется улететь за ними, и тогда я такая сильная, что никто не сломит меня.

В это лето Таня уже помогала отцу по хозяйству. Она возилась на пасеке, на бахче с арбузами и дынями, поливала капусту, и еще издали был слышен ее громкий голос и звонкий смех.

Отец с чердака снес пачку книг, и по вечерам Таня читала вслух. Особенно мне запала в память книга «Овод» Войнич. Кончили мы ее поздно ночью. Наконец Таня дочитала последнюю строчку и захлопнула книгу. Глаза ее были красны и опухли от слез.

— Вот были же такие люди! Сколько я бы дала, чтобы посмотреть на них!

— А ты думаешь, у нас таких людей нет? — удивленно спросил отец и, отложив работу, стал рассказывать ей о ссыльных, о каторжанах, о тех, кто выпущен из тюрем с волчьим билетом и вынужден скитаться с одного места на другое.

Снова долго говорили они в эту ночь...

□

Шли годы. Отец часто тосковал. Он только немного оживлялся, когда к нему заходили «волчники». Мать возилась по хозяйству и с четырехлетней шустрой сестренкой Раисой.

Весной, когда Таня кончила седьмой класс, в семье произошло несчастье. Причиной его была ссора отца с попом. Поп давно недолюбливал отца. Ему не нравилось, что учитель не бывает в церкви, а при встречах не оказывает ему должного почтения. Однажды, встретив отца на площади, священник стал кричать, что он безбожник, отрешился от церкви, развращает детей, не посылая их в храм божий, учит неповиновению и разврату.

Отец вспыхнул, попросил его не учить, а лучше самому поменьше обманывать народ. Поп затопал ногами и, оглядываясь на подходящий народ, закричал, что от такого, как отец, можно всего ожидать и что он, должно быть, ворует школьные деньги на содержание своей дочери в городе.

Тогда отец, не помня себя, ударил священника кулаком по лицу.

А через несколько дней, накануне пасхальных каникул, поздно вечером, школьный сторож постучался к нам в дом и передал срочный пакет, присланный из города. Я не узнал отца, когда он появился в дверях. Растрепанные волосы дыбом стояли над высоким лбом. Он размахивал правой рукой, в которой была какая-то бумага, и, не глядя на меня, хрипло сказал:

— Меня выгнали из школы... как вора...

Лицо его налилось кровью, он глухо застонал, схватился руками за голову и со всего размаха упал на пол.

Всю ночь отец пытался что-то сказать, но у него ничего не получалось кроме жалобного, несвязного мычания. Мы с матерью не отходили от его постели. Только на рассвете он пришел в себя, пробовал поднять руки, двинуть ногами, но они были скованы. Тоскующим взглядом он обводил комнату, всматриваясь в наши лица, точно ища помощи.

Его разбил паралич. Отец стал о чем-то настойчиво просить, указывая глазами на стену, где висела танина карточка. Я снял ее и поднес больному. Он заволновался, потом улыбнулся и закрыл глаза. По его щекам медленно текли слезы.

Утром под диктовку матери я написал Тане письмо.

□

Таня приехала неожиданно, когда отцу стало лучше; он уже мог немного разговаривать и двигать правой рукой. Левая половина все еще оставалась неподвижной. Я бросился навстречу сестре. Она торопливо шла по двору с побледневшим лицом и испуганными глазами.

— Как папа? — быстро, взволнованно спросила она.

— Ничего, сейчас лучше, — улыбнулся я ей и вдруг почувствовал огромное облегчение оттого, что она будет вместе с нами. Казалось, теперь все должно измениться и отец будет здоровым, как и раньше.

— Ты не ходи, я сама, — задержала она меня в первой комнате.

Я слышал, как она поспешными шагами прошла через комнату отца, слышал радостный возглас и поцелуи.

Меня испугал громкий смех Тани. Я вбежал в комнату. Таня сидела на кровати отца и, глядя его руку, весело рассказывала о гимназии, об экзаменах, о медали, которую она получила. Вся семья собралась вокруг. Отец вышел из своего обычного тяжелого состояния и, улыбаясь, слушал рассказы Тани.

Только один раз он зажмурил глаза и тихо сказал:

— Ну вот, я теперь калека. Никому не нужен.

— Это все ерунда, — перебила его Таня. — Дай время, поправишься — снова на работу пойдешь. А на попу не стоит обращать внимания, мы ему еще покажем.

Я исподтишка приглядывался к Тане и никак не мог ее понять. Может быть, она не

знала, как опасно болен отец?

К вечеру отец устал и задремал. Таня долго еще гладила его руку, потом встала и вышла из комнаты.

Я бросился за ней.

Мы вышли на двор, когда на небе застыла большая круглая луна.

У ворот Таня остановилась, провела ладонью по моим волосам и тихо сказала:

— Ну вот, теперь я осталась старшей в семье. Не поправится он.

И вдруг, резко повернув меня к себе, заглянула в глаза:

— Запомни хорошо: гордиться ты отцом должен. Таких честных, как он, трудно найти. Всю свою жизнь отец людям помогал. А теперь его сильно обидели. Я вот говорила: на попу управу найдем. А кто нас послушает — иногородние мы. Да и отца в городе социалистом считают. Убила бы я их всех, растерзала душителей.

Я с удивлением смотрел на Таню.

Все лето Таня ухаживала за отцом и работала по хозяйству. Отец чувствовал себя гораздо лучше: опираясь на палку и волоча за собой ногу, он медленно проходил на огород, пасеку и наблюдал, как работала Таня.

Она несколько раз писала в город, прося разобраться в увольнении отца, но ничего не добилась. Когда же ей предложили преподавать в станичной школе, она с радостью согласилась.

С раннего утра Таня уходила в школу, возвращаясь оттуда поздно, и в нашем доме все чаще и чаще стали появляться ребяташки.

В свободное время мы много читали и гуляли.

Помню, однажды мы вышли с Таней на завалинку. Выл тихий вечер. Солнце уже зашло за дальние облака, и прохладой повеяло от реки.

Таня улеглась на завалинку, подложила под голову руки и неподвижно смотрела на потемневшее небо, на котором загорались бледные звезды.

— Для кого я росла и кохалась, — прорезал тишину ее высокий голос.

— Для кого я всю жизнь отдала...

Меня удивила грусть, которая прорвалась в напеве и словах.

Таня вдруг оборвала песню, пристально посмотрела на меня и улыбнулась.

— Это только так, в песне. А ты думаешь, я не знаю, зачем живу? — приподнялась она на локте. — Сколько я ночей об этом думала! Помнишь, я с тобой об отце говорила, когда заболел он? Сколько он дал мне, человека из меня сделал. Всю свою жизнь я хотела бы отдать за народ. Иногда я себя представляю на баррикадах, в тюрьме. Может быть, меня расстреляют так же, как и Овода. И когда я об этом думаю, мне становится так радостно и легко. Мне кажется, что я по каплям отдала бы всю свою кровь, только чтобы людям жилось лучше. Вот я все и думаю; как это сделать?

Мне почему-то страшно стало за Таню.

Я понял, что все, о чем она говорила, было не только слова, а гораздо большее, за что она, не колеблясь, отдала бы свою жизнь.

Где-то далеко началась война. Станица со слезами провожала уходящую молодежь, бабы тонко и надрывно плакали. За молодежью пошли старики, и притихла станица. Таня притаскивала из школы газеты и вместе с отцом долго сидела над картой, обсуждая положение на фронтах.

К отцу зачастили волчники. Теперь он их принимал уже не один, а с Таней.

Однажды глубокой осенью к нам зашел волчник — молодой голубоглазый студент.

Ловкий и рослый, он привлекал своим хохотом, шутками. Присев у печки и глядя на огонь, он высоким голосом напевал волжские песни, тихо наигрывая на гитаре.

Таня сидела в углу и с любопытством разглядывала студента.

Разморенный теплом и усталый за день, я незаметно для себя уснул. Проснулся я от громкого, возбужденного голоса.

Студент стоял, держась за спинку стула, ворот рубахи у него был расстегнут.

— Ведь это же понятно, — возбужденно говорил он. — Война империалистическая должна стать войной гражданской. Сотни, тысячи людей, вооруженных с ног до головы, повернут свои ружья против тех, кто веками угнетал их. А тогда — эх, что мы тогда сделаем!

Проходясь по комнате и постукивая палкой, отец вдруг широко улыбнулся. Таня не спускала со студента потемневших, блестящих глаз. И когда он на минуту замолчал, она быстро подошла к нему и обеими руками схватила его руку.

— Так зачем же ждать? — резко, возбужденно спросила она. — Надо теперь же. Надо сейчас.

Студент засмеялся в ответ и быстрым, порывистым движением ласково похлопал девушку по плечу:

— Поторопимся — дело провалим. Надо к этому хорошо подготовиться.

— Но разве можно ждать? — снова возбужденно спросила Таня.

— А ты не горячись, — успокаивал ее отец. — Не пришло еще время.

Потом все втроем уселись за стол, и до меня долетали отдельные фразы студента. Он говорил о партии большевиков.

На рассвете, когда я работал на дворе, студент собрался в путь. Таня вышла проводить его к воротам. Я видел ее строгое, грустное лицо. Студент наклонился к ней и, смеясь, что-то тихо говорил. А затем он пошел по дороге, а Таня, подойдя к плетню, долго неподвижно стояла, не спуская взгляда с высокой, быстро удаляющейся фигуры.

Когда я вернулся домой, Таня сидела за книгой, которую оставил ей студент. И уже позже я заглянул в нее. На обложке было написано: «ЛЕНИН».

□

Я точно не знаю, когда Таня вступила в партию, но это было до переворота. Только уже позднее я узнал, что на квартире у Григория Половинко собиралась небольшая организация, состоящая из солдат, казаков-фронтовиков и нескольких иногородних. О февральском перевороте нам сообщила Таня. Она бежала по двору и кричала, размахивая газетой. Случилось что-то радостное и большое, что заставило всех вскочить и броситься к Тане: задыхаясь, она читала сообщение об отречении царя. Я увидел отцовские глаза, наполненные слезами. Таня тоже оглянулась на отца, бросилась к нему и обняла за шею.

Начиналась новая жизнь.

А потом?

Армия на фронте браталась с немцами, бросала окопы, разбегалась по домам. На улицах Петрограда шла борьба между восставшими рабочими и войсками Керенского. На Кубани раду возглавило белое офицерство.

С самого начала февраля Таня целиком ушла в партийную работу. Она выступала на митингах, разъезжала по ближайшим станицам, требовала прекращения войны, передачи земли трудящимся.

Против нее ополчились кулачество и учителя. Они как-то выгнали Таню с собрания, когда она выступала в школе, обозвали ее продажной девкой, немецким шпионом, предателем.

Но Таня спокойно относилась к таким стычкам. Она рассказывала мне о них и весело смеялась, поблескивая глазами:

— Это не важно. Мы все равно добьемся своего. Пусть орут. Не пойдут за ними массы. Однажды в станице Отрадной ее чуть не избили кулаки. К этому времени мы с братом Григорием уже вступили в красногвардейский отряд. Мы собирались по вечерам, выходили в степь, и там кто-нибудь из фронтовиков учил нас, как обращаться с винтовкой и стрелять. Таня была одним из организаторов нашего отряда.

Иногда мы по очереди выезжали в станицы вместе с партийными товарищами, которые должны были выступить на митингах. Вот почему я и поехал вместе с Таней в станицу Отрадную. Перед отъездом один из товарищей рассказал, что в станице неблагополучно, что там орудуют кулаки и приехавшее белое офицерство.

Я чувствовал, что Таня волнуется, хотя внешне она была спокойна.

В станице заседала партийная организация. Таня зашла в избу и договорилась с товарищами, что пройдет на площадь, где уже начался митинг.

Площадь была полна народу. Мы с трудом протиснулись к трибуне. Там, на виду у всех, с погонами войскового старшины сидел рослый, с чуть посеребренными волосами и важным видом станичный атаман. Заломив папаху на затылок и размахивая руками, выступал сотник в белой черкеске с серебряными газырями.

Он говорил о традициях вольного казачества, о том, что позор падет на головы верных

и лучших сынов родины, если они не победят Германии.

— Надо забыть распри, нужно перестать иногородним баламутить народ и вместе с казачеством пойти на защиту отечества, — закончил он и, тяжело дыша, спрыгнул на землю.

Где-то рядом закричали «ура». Крик прокатился по площади, и, когда он затих, из толпы донесся злобный голос:

— Как на бойню вы нас зовете. А земли мы и не видали до сих пор. Что же, ребятишкам да бабью с голоду пухнуть?

Поднялся страшный шум. Кто защищал иногородних, кто кричал против них.

Я не заметил, как Таня взобралась на трибуну. Звонкий, чужой женский голос заставил успокоиться толпу.

— Да это ведь учительша, из станицы Попутной! — крикнул кто-то.

Я никогда не слышал, чтобы так выступали. Она говорила горячо, как настоящий оратор. И голос ее, ставший чужим и незнакомым, проникал в душу и заставлял верить каждому слову.

Она говорила о земле, о которой затаенно мечтали люди, о той жизни, которую нужно отвоевать с оружием в руках. А когда она заговорила о большевиках и произнесла имя — Ленин, — толпа замерла.

Мне бросилось в глаза нахмуренное лицо атамана, встревоженный взгляд сотника. Он наклонился к высокому пожилому уряднику, стоявшему рядом с ним и не спускавшему глаз с Тани.

Тревога сжала сердце. Урядник быстрым движением бросился к Тане и локтем оттолкнул ее в сторону.

— Казаки, не слушайте бабу! — пронзительно закричал он, заглушая танин голос. — Она из германских шпионов!

Таня старалась перекричать его, но крик и шум заглушали ее голос.

Урядник неожиданно обернулся к Тане и наотмашь ударил ее по голове.

Я видел, как она зашаталась, и бросился к трибуне. Но прорвать хлынувшую к ней толпу не было сил.

Неожиданно раздался резкий свист. Я заметил знакомое лицо товарища Чередниченко. Заложив пальцы в рот и заслоня Таню от урядника, он пронзительно свистел. И этот свист как-то разрядил атмосферу. Не дав опомниться ошалевшим людям, Чередниченко закричал густым басом:

— Что вы делаете?.. Беззащитную женщину убить хотите? Разве это к чести казачества? Совести у вас нет — связываться с бабой.

Толпа еще долго гудела, люди продолжали спорить, но злоба пропала. Подоспевшие с собрания товарищи оттеснили Таню и помогли ей выбраться с площади.

Так спас Таню товарищ Чередниченко, позже ставший командиром

красногвардейского отряда станицы Отрадной.

Большевики были загнаны в подполье. Таня не жила дома, ночевала у знакомых, скрывалась в камышах вместе с товарищами.

... В холодную осеннюю ночь по приказу подпольного ревкома красногвардейский отряд окружил управление станичного атамана и обезоружил власть. Всю ночь в станице шла стрельба, а на рассвете белые отступили в горы.

Па первом заседании ревкома Таню назначили продкомиссаром.

Вся семья поздно ночью собралась дома. Таня прибежала позже всех. Она возбужденно рассказывала отцу о событиях.

В этот вечер она отрезала свою длинную вьющуюся косу. Мать испуганно закричала и заплакала.

Таня громко засмеялась и тряхнула коротко остриженными волосами:

— Нельзя иначе, мама. Намучилась я с ними. А теперь вот придется разъезжать за продуктами по станицам. Мешают они. Да ты не плачь, я ведь еще долго буду жить. Успеют отрасти.

Я смотрел на Таню и не узнавал ее: лицо стало иным, совсем детским. И я подумал: «Если бы ее нарядить в мужской костюм, какой бы славный из нее вышел мальчишка».

В эту ночь отец долго разговаривал с нами. Было поздно, когда мы разошлись. Я долго не мог заснуть. И вдруг в тишине раздался взволнованный, тихий голос отца:

— Как хорошо, что у нас такие дети! Слышишь, мать? И если бы не нога моя, проклятая, взял бы я винтовку и пошел бы вместе с ними. Ты думаешь, меня бы не приняли в Красную гвардию?

Таня теперь редко бывала дома: забегала только для того, чтобы переодеться и поесть. Мать упрашивала ее поберечь себя, но она всегда отвечала одно и то же:

— Нельзя сейчас, мама. Время такое, что каждая минута дорога. Мне ведь нужно накормить и армию и бедноту. За нас никто работать не будет. А кулачье народ мутит, продукты прячет.

Я часто заходил в ревком. Около Тани всегда было много женщин. Она отдавала им приказания, и женщины на подводах уезжали перевозить отобранное у кулаков зерно. Я с удивлением прислушивался, как умела она отдавать распоряжения, и видел, что она пользовалась уважением товарищей.

□

Разгоралась гражданская война. Кругом вспыхивали восстания. Разбитые корниловские войска бежали на Кубань, Дон, в Черноморье. Офицерство поднимало кулаков против советов. Станицы переходили из рук в руки.

Озверевшее белое казачество вместе с генералами и офицерством билось «за единую и неделимую Россию», за «вольное казачество» и жестоко расправлялось с семьями ушедших в Красную гвардию.

В нашем отряде была и Таня. Она прекрасно ездил верхом и стреляла почти без промаха. Во время походов она не отставала от ребят, шла бодрым размашистым шагом, и ее смех и песни далеко разносились по степи.

Однажды Таню чуть не убили кулаки, когда она отбирала продовольствие в соседней станице.

У мельника на базу беднота вскрыла запасы запрятанной муки. Таня приехала тогда, когда мешки с мукой уже были вытащены из ямы и ровными штабелями разложены по земле.

— Собрать все. Свезти в ревком, — приказала она и распорядилась арестовать мельника и его сына — здорового молодого парня, злобно смотревшего на нее.

Она задержалась в ревкоме, и, когда вышла на улицу, на темном небе уже ярко горели звезды. Подвода с красноармейцами, которая должна была ее дожидаться, куда-то уехала. До Попутной было верст пятнадцать. Таня нерешительно постояла на месте. Вспомнила крики, угрозы, которые раздавались на базу. В ревкоме же никого из товарищей не было, идти и разыскивать их по домам не хотелось. Люди могли подумать, что она чего-то испугалась. Но ночевать здесь было рискованно: еще не так давно в этой станице было кулацкое восстание.

Таня медленно пошла по улице, напряженно всматриваясь в темноту. В домах погасли огни. Кругом было пусто, только собаки лаяли в подворотнях.

За станицей в степи стало светлее. Таня осторожно шла, держа палец на предохранителе револьвера.

Верстах в двух от станицы пролежала небольшая балка с прогнившим мостом. Затаив дыхание и приглушив шаги, Таня перешла через него и вдруг совсем близко от себя услышала выстрел. Над ухом тонко взвизгнула пуля.

Таня бросилась в сторону и, упав на землю, оглянулась назад. Две темных фигуры бежали к ней. Подпустив их поближе, она спустила курок. Фигуры отскочили и залегли в канаве. Таня ползла по земле и, изредка оглядываясь, стреляла по направлению шевелящейся травы.

Где-то далеко затарахтела подвода. И чем ближе доносился ее стук, тем страшнее становилось. Кто это был — свои или чужие?

И только когда подвода подъехала совсем близко, Таня узнала ямщика и двух бойцов.

— Куда ушла? — встревожено кричал боец. — Мы ведь только за овсом поехали!

Поздно ночью Таня приехала домой. Стараясь не шуметь, я угощал ее топленным молоком, а она рассказывала, как ее подкарауливали кулаки.

— Я не растерялась, — говорила она. — Но все же было очень страшно. Уж очень глупо так умирать. Бестолковая смерть.

— А разве есть смерть толковая? — удивился я.

— Конечно, — усмехнулась она. — Я бы хотела умереть так, чтобы от этого польза

была. А глупо — всякий может.

Я с некоторым сомнением смотрел на нее. И только гораздо позже я понял, о чем она говорила.

□

Летом восемнадцатого года белые сформировали отряды и начали наступление.

Красная армия тогда еще не имела достаточного количества оружия и снаряжения, не имела крепкого командного состава.

Осень установилась холодная, с ветрами. Уже давно белые заняли Екатеринодар, за ним Армавир, и совсем близко от станицы шли бои с генералом Покровским. 11-я Красная армия отступала к Невинке, часть — к Ставрополю, где шли непрерывные, жестокие бои. Вспыхнул сыпной тиф. Он косил бойцов, оголяя фронт.

□

Мы оставили станицу после горячего боя. Отступали в сумерках. Поднимая по улице пыль, цокали копытами лошади, тархтели колеса подвод с имуществом и продуктами. Длинной вереницей растянулся отступающий обоз с женщинами, стариками и ребятишками.

Прикрывая обоз и отстреливаясь, мы медленно продвигались к дому, где на базу дожидались оседланные лошади.

Таня забежала домой, поцеловала мать, сестренку и обняла отца. Он крепко прижал ее к груди и взволнованно, торопливо говорил:

— Если с вами случится что, очень мне тяжело будет. А если с дороги свихнетесь — еще хуже.

Вблизи застучал пулемет. Таня оторвалась от отца и бросилась на баз. Ловко вскочив на коня, она хлестнула его плеткой и махнула рукой стоящим в дверях старикам.

□

С большими боями армия отступала к Невинке. Тыла не было: всюду шли бои. Станицы горели в борьбе.

Мы редко виделись с Таней: меня перебросили в другой отряд, брата Григория направили в соседнюю часть. Я старался через ребят узнать о сестре, которая находилась при штабе, но это не всегда удавалось.

Таню я увидел только в Невинке. Это было во время измены главнокомандующего Сорокина. После митинга я заехал в штаб.

Таня приехала туда только поздно ночью. Она вся посинела и никак не могла согреться.

— Весь день сегодня на собраниях выступала. Голос сорвала.— хрипло говорила она. — Какое большое преступление! Сорокин расстрелял лучших партийных товарищей.

Разве кому-нибудь приходило в голову, что он изменит?

Я уговорил ее прилечь в соседней со штабом комнате и, хорошенько закутав, напоил

горячим кофе.

Она немного отошла, согрелась и, блестя глазами, уверенно сказала:

— Из Москвы сообщение получено. К нам выслали целую группу красных командиров. Они через Царицын пробираются. Заменят старых офицеров, наладят дело, и мы опять пойдем в наступление.

— А ты думаешь, у нас достаточно сил, чтобы победить?

— Уверена ли я? Ну, конечно! Пускай отдельные поражения, неудачи — это временно: мы, конечно, еще пойдем в наступление. Армия сейчас перестраивается, накапливает силы, а потом сам увидишь, что будет.

Таня волновалась за младшего брата — Григория:

— Ты, Николай, съезди к нему, ведь он же мальчишка. Сдуру и в плен попадет. Видела я, как он в бою держится. Надо спокойно, а он прямо на белых рвется. Зачем свою голову даром отдавать? Никому это не нужно.

Я обещал навестить брата и поздно ночью уехал в часть.

□

Через несколько дней, как и говорила Таня, по всему фронту началось наступление.

Перед самым выходом из станицы я заехал навестить сестру. У дома, запрягая лошадь в телегу, возился брат Григорий.

— Ты зачем здесь? — удивился я, — Почему не в части?

— Да я тут уж второй день. Ты разве не слыхал, что Таня заболела? Из штаба меня вызвали за ней ухаживать. Доктор утром был, говорит — тиф. Я ее все в больницу уговаривал лечь — не хочет. Теперь велела лошадь запрячь.

— Да куда же ей ехать? — удивился я и прошел в дом. Таня лежала на той же самой койке, на которую я уложил

ее несколько дней тому назад. Она поспешно передавала какие-то бумаги молодому парню и рассказывала, что надо делать. Увидев меня, она чуть заметно улыбнулась и провела ладонью по лбу.

— Что же ты это, Танюша, так скандалишь? Не время сейчас, — попробовал пошутить я. — В больницу надо, сестренка. Ну, какое же тут лечение?

Она привстала, по щекам разлился яркий румянец. Я никогда не слыхал у нее такого раздраженного тона:

— Что вы все заладили одно и то же: в больницу, в больницу... Не пойду я туда.

— Да ведь ты никогда не поправишься, если за войсками будешь метаться.

Она вдруг показалась мне совсем маленькой и слабой. Лицо сморщилось, на лоб набежали морщинки, и, пряча увлажненные глаза, Таня тихо и взволнованно сказала:

— Не могу я оторваться от своих. От тоски тут одна умру. Да ты не бойся, все будет хорошо, Гриша сейчас со мной. Товарищи подводу дали. Поедем в обозе, торопиться не будем, — уговаривала она меня, и, впервые за всю жизнь, я почувствовал себя старше и

сильнее ее.

Зачем я тогда не настоял на своем и не задержал ее в Невинке?

С победными боями мы продвигались вперед, по тому самому пути, по которому еще недавно отступали.

В начале ноября мы заняли село Козьминское, в двадцати верстах от станицы Попутной. Отряд на короткое время задержался на отдых. Часа два я обходил дома, чтобы узнать, где остановилась Таня с братом.

Один из бойцов указал мне небольшой домик в середине села. Не стучась, я открыл дверь. В лицо ударил спертый воздух. Я сразу увидел Таню. Она сильно изменилась, на бледном лице ярко выделялись огромные темные глаза.

Около кровати возилась какая-то женщина, подавая пить и оправляя одеяло.

Я видел худую, бледную руку с длинными, слегка дрожащими пальцами.

— Как дела там, на фронте? — чуть слышно спросила она.

— Хорошо, Танюша, видишь, как их гоним. Дом под боком. Дня через два и стариков наших увидим. Ты вот только поправляйся.

Она тяжело вздохнула и перевела взгляд в сторону. Таня лежала молча и, казалось, не слушала меня. Откуда-то издалека донеслись звуки горна.

— Пора? — встрепенулась она.

Все громче и громче играл сбор трубач.

Я нагнулся к сестренке и поцеловал ее в горячий лоб. Она взяла мою руку и неожиданно крепко пожала ее.

На пороге я обернулся и увидел тревожный, тоскующий взгляд. Мне хотелось броситься к сестренке, взять, унести ее отсюда, уберечь от чего-то страшного, что огромным камнем давило мне сердце.

По улице уже скакали всадники. Я вышел наружу и прикрыл дверь. Разве я мог предполагать, что это была наша последняя встреча с Таней?

А через день случилось то, чего никто не ожидал.

Мы уже подходили к Попутной, когда, залетев в тыл, белые ворвались в Козьминки и заняли их. Наша часть стала спешно отступать к Невинномысской.

И только через год я узнал все, что случилось с Таней.

На другой день после моего отъезда брат решил к вечеру выехать в Невинку за фуражом. Кругом было спокойно, около Тани возилась хозяйка.

Поздно ночью Григорий с мешком овса подъезжал к Козьминкам. Ночь была темная, ветер поднял порошу, и плохо было видно, что делается впереди.

Он въехал уже в село, когда неожиданно раздалась стрельба. А затем навстречу понеслись повозки, подводы, тачанки, побежали с криком люди. Кто-то бежал в одном белье. Со всех сторон кричали бойцы и ошалело стреляли в сторону центра.

Григорий не растерялся, хлестнул лошадей. До дома, где лежала Таня, остался один квартал.

— Куда гонишь? — кричали ему вслед обозники. — Белая кавалерия все село заняла! Обоз уже мчался в несколько рядов.

В первую минуту Григорий не мог понять, что случилось. Он вылетел на землю, подвода перевернулась, и, запутавшись в постромках, бились лошади. Его сбили отступающие подводы.

По улице уже свистели пули, совсем рядом тарахтел ручник.

Тогда, обрезав постромки, Григорий вскочил на коня и погнал его вслед за отступающими в панике людьми.

И только когда выехал из села, ясно понял: Таня осталась там, в руках у белых...

К вечеру, когда Григорий выехал в Невинку, у Тани поднялась температура. Она металась на постели, с жадностью пила воду и впадала в забытие, тонким, жалобным голосом звала отца, мать, меня и Гришу. Ее мучили страшные кошмары.

Иногда она приходила в себя, слегка приподнимала от подушки голову и тревожно прислушивалась к завыванию ветра.

— Гриши нет? Что ж он не приехал? — испуганно оглядывала она хозяйку, чужую комнату и маленький коптящий коганец.

Поздно ночью она открыла глаза и долго всматривалась в сморщенное лицо хозяйки. Когда в селе раздалась перестрелка, Таня вскочила с кровати.

— Кто это там? — спросила она. — Брат приехал?

— Не видать еще, — ответила хозяйка.

Таня откинулась назад, прикрыла глаза ладонью. Лицо ее было мертвенно-бледно.

На дворе затопали лошадиные копыта. Хозяйка бросилась в сети. На улице разгорелась стрельба, откуда-то доносился испуганный крик.

А когда она вернулась в комнату, больная без памяти лежала у окна. Видимо, она пыталась выбраться наружу. И уже позже, придя в себя, Таня снова заметалась: — Пропала я теперь. Не выбраться мне отсюда.

Послышались мужские голоса, и кто-то громко и настойчиво застучал в дверь.

ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ



Иллюстрация к книге
про Татьяну Соломаху

«Мне до боли тяжело вспоминать
все это, но я хочу, чтобы наша молодежь
узнала о героях, научилась,
как надо бороться и жить и, если
нужно, достойно умереть как большевику».

«Много нас, ее учеников, уже
работает в промышленности, в сельском хозяйстве».
(Из письма бывшего ученика Татьяны Соломахи
Григория Половинко.)

Я уже второй год учился в школе, когда к нам прислали новую учительницу. Мы, ребята, с любопытством разглядывали Татьяну Григорьевну. Была она стройная, высокая, с длинной кудрявой косой, и нам казалось, что она только немного старше нас.

Кто-то из ребят сказал:

— Ну, такую можно и не слушаться. Теперь на уроке что хочешь, то и делай. Быстрой, легкой походкой вошла она в класс и, поглаживая по голове ребят, расспрашивала о том, что мы проходили без нее.

С задней скамьи кто-то громко свистнул. Учительница обернулась назад и так посмотрела на мальчика, что мы поняли: она никому не позволит хулиганить. А потом она уселась у стола, мы сгруппировались вокруг нее и слушали ее рассказы. Никто не

говорил с нами так просто, интересно и хорошо, как она.

А на перемене Татьяна Григорьевна играла с нами в лапту и окончательно покорила ребят.

Каждое утро мы всем классом выходили к мосту и, как только на дороге показывалась высокая фигура учительницы, вперегонку бежали к ней. Каждому хотелось первому добежать до Татьяны Григорьевны, схватить ее за руку, идти рядом с ней.

Она знала, как живет каждый школьник, и часто ходила по домам и беседовала с родными.

Одно меня сильно смущало. К отцу иногда по ночам собирались какие-то люди, о чем-то разговаривали до рассвета и затем тихо расходились по домам. Среди них была одна женщина, и я страшно испугался, когда однажды в ней узнал нашу учительницу. О чем она говорила — я не знал, так как в эти ночи мать стелила мне постель на кухне.

Может быть, она рассказывала о школьниках или жаловалась на меня отцу, чего я боялся больше всего, так как знал его строгость.

Я решил обязательно узнать, о чем говорили эти люди по ночам.

Однажды, когда мать постелила мне на кухне, я быстро улегся и притворился заснувшим. Слышно было, как мать возилась в комнате, затем она вышла во двор. Я вскочил с кровати и подбежал к окну. Мать стояла у ворот, точно сторожила кого-то. Я положил к себе на постель шубу, сверху прикрыл ее одеялом и на цыпочках пробежал в комнату отца. Там еще никого не было. На дворе скрипнула калитка. Я бросился под кровать и, затаив дыхание, прижался к стене.

Как у меня билось и замирало сердце! Я не обращал внимания на входивших мужчин. Наконец послышался веселый знакомый голос. Начиналось самое страшное. Я вспоминал все свои грехи, плохие отметки, и у меня тоскливо сжималось сердце и дрожали ноги.

Как будто издавека я слышал, как отец предлагал избрать председателя и секретаря. А затем чей-то незнакомый голос отчетливо сказал:

— По первому вопросу — о вооруженном восстании — предоставляется слово Татьяне Соломахе, делегату первой областной партийной конференции большевиков.

Я замер. Сердце заколотилось так, что было трудно дышать. В полной тишине учительница начала свой доклад. Я тогда не понял всего, о чем говорила она, и только позже, когда отец вернулся из Красной армии домой, он подробно объяснил мне все.

Она говорила, что единственное средство борьбы с буржуазией — это вооруженное восстание и взятие власти у Временного правительства. Она рассказывала о том, что в Москве и Петрограде уже пролилась рабочая кровь за советы и что теперь очередь наступила и для нас. Она настаивала на немедленной организации Красной гвардии и много рассказывала о коммунистической партии.

Я не помню всего, но никогда еще в школе я не слышал, чтобы учительница говорила

так убедительно и горячо.

Мне было так радостно и хорошо, что я хотел закричать, запеть, но, боясь, что меня найдут, я продолжал молча лежать.

Вскоре после этого собрания произошло то, о чем говорила учительница. Каждый день в станице шли митинги и собрания. Мы, ребяташки, обычно торчали у трибуны и слушали все, о чем говорила Татьяна Григорьевна. Нам нравилось, что у нее сбоку висел маленький черный револьвер, и, когда на соседние станицы налетали белые банды, она уходила вместе с отрядом выгонять кадетов.

Мы создавали целые легенды о нашей учительнице, и нам казалось, что во всем свете нельзя найти такой удивительной и храброй, как она.

□

Я не помню, когда из станицы ушли наши и пришли белые. Сильный недуг отбил у меня память. Как страшно и одиноко было дома без отца, особенно по ночам. Белые ходили из дома в дом, арестовывали и уводили куда-то людей, разоряли хозяйства. На столбах у площади долго висели мертвецы.

Станичники сторонились друг друга, боясь доноса. Офицеры уводили из дома всякого, кто высказывал хоть небольшое сочувствие большевикам.

□

Как-то поздно вечером из Козьминок под усиленным конвоем белые привели пленных красногвардейцев. Говорили, что среди них находится одна женщина, но ее никто не мог разглядеть, так как всадники близко к арестованным не подпускали.

Подводы проехали всю станицу, а потом свернули на пригорок, где над Урупом примостилось старое здание станичного управления, занятое тюрьмой. Оно было тесное и маленькое, и круглые сутки около него виднелся часовой.

Мы, ребяташки, собрались в школу. Утро было ясное и солнечное; под ногами хрустели лужицы, затянутые ледком.

Мы бегали взапуски, играли в пятнашки, когда дверь из школы отворилась и на пороге показалась сторожиха. Лицо у нее было красное, опухшее, и сердито смотрели обычно добрые глаза. ...

— Бесстыдники! — крикнула старуха. — Нет у вас ни совести, ни жалости! Вы тут гоняете, а учительница, наша голубонька, в тюрьме заперта!

Не сговариваясь, мы всем классом бросились к станичному управлению.

Я вспомнил, как на рассвете за станицей раздавались выстрелы: это расстреливали пленных. И от одной мысли, что и с учительницей могут сделать то же самое, я почувствовал подступающие к горлу слезы.

Вся площадь перед станичным управлением была полна народу. Около самого здания на бревнах сидели старики, разговаривая и посмеиваясь. Рядом с ними стояли военные

с нагайками. В задних рядах боязливо столпились иногородние и казачья беднота. Вся площадь говорила о том, что поймали учительницу. Старики обсуждали это с радостью, молодежь угрюмо молчала, богатые казачки ругали комиссаршу и ожидали прихода атамана.

Он пришел не один, а с бывшим нашим учителем Калиной, который с первых же дней, как белые заняли станицу, надел офицерские погоны и сбоку на груди привесил георгиевскую медаль. Высокий и плотный, он шел около атамана и оглядывал толпу, небрежно ударяя по щегольскому сапогу стеклом.

Я с ненавистью посмотрел на него. Сколько раз, когда в станице были наши, он забегал к отцу и говорил, что первым поступит в отряд, когда белые подойдут к станице.

Сколько раз я видел его около трибуны, когда горячо выступала учительница, и тогда у него было другое лицо — заискивающее и покорное,

Толпа сразу притихла, старики соскочили с бревен и, сняв папахи, низко кланялись.

Охрана взяла на караул.

Начальник тюрьмы подбежал к атаману, взял под козырек и о чем-то докладывал ему.

Немного погодя я услышал громкий голос Калины:

— Ну-ка, выводи комиссаршу. Мы с ней поговорим о земле, свободе и власти.

Я с трепетом смотрел на дверь. И вдруг мне страшной показалась толпа, дряблое лицо атамана с торчащими кверху усами и насмешливый взгляд Калины.

Дверь со скрипом отворилась, и на пороге показалась учительница.

Рядом кто-то громко ахнул, сзади пробежал изумленный шепот. А я не спускал взгляда с дорогого, милого лица; было страшно оттого, что оно так сильно изменилось и похудело. Бледные щеки впали, лицо стало длинным и узким, пропал румянец и ласковая улыбка.

Темное разорванное платье свисало клочьями, и казалось, что учительница еле держится на ногах.

Громкий крик, хохот, брань нарушили тишину. Учительница сделала несколько шагов вперед и удивленно оглядела толпу. И вдруг она заметила своих учеников. Она внимательно оглядывала нас, точно хотела понять — кто же мы. И по обычной нашей привычке, которая установилась издавна при встрече с учительницей, мы подняли в знак приветствия руки. Учительница чуть заметно улыбнулась, только уголками губ, и тоже подняла руку.

Слезы застилали мне глаза, лились по щекам. Хотелось подбежать к учительнице, защитить ее.

— А ну-ка, комиссарша, расскажи теперь сходу, чему ты детей учила, — подступал к ней Калина, размахивая стеклом, и я только сейчас заметил по его возбужденному лицу и походке, что он пьян. — Может быть, как людей грабить, как хлеб из-под земли выкапывать да денежки к себе в карман класть?

Учительница свысока, спокойно смотрела на офицера, а я боялся, что он заденет ее по голове стеклом, окружающие его казаки бросятся на девушку, задушат, разорвут на куски.

— Что же у тебя лицо такое? — снова кривлялся офицер. — На большевистских хлебах, видно, не больно сладко? Или ты, может быть, уже забыла о них? Будешь служить теперь нам?

— Большевики не бывают предателями, — неожиданно громко пролетел по площади знакомый звонкий голос.

— Учительство позоришь, — шагнул к ней Калина, размахивая кулаками, и вдруг развернулся и наотмашь ударил девушку по лицу.

Она пошатнулась и упала на землю.

Несколько казаков бросилось к ней, в воздухе засвистел шомпол, и сквозь рассеченное платье показалась кровь,

Учительница лежала молча.

Люди били возбужденно, с ожесточением, и каждый удар гулко отдавался в мозгу.

Где-то сзади закричала баба. Несколько человек растерянно заметалось.

Затыкая уши, я сорвался с места и, ничего не видя перед собой от брызнувших слез, побежал, не сознавая, куда, — прочь от тюрьмы.

□

Через несколько дней мы с ребятами снова побежали навестить Татьяну Григорьевну.

Мы не знали, как помочь ей, но каждому хотелось пробраться в тюрьму, как-то выразить нашу любовь и сказать ей, что она не одна и что мы постараемся отомстить тем, кто посмел издеваться над ней.

Но перед тюрьмой снова шла порка.

Избитую, окровавленную учительницу подняли с земли и поставили у стены дома.

Она еле держалась на ногах. И опять меня поразило ее спокойное лицо. Я искал в нем страх, мольбу о пощаде, но видел только широко открытые глаза, пристально оглядывающие толпу. Вдруг она подняла руку и громко, отчетливо сказала:

— Вы можете сколько угодно пороть меня, вы можете убить меня, но советы не умерли. Советы живы. Они вернуться к нам.

Рябой, небольшого роста, с бельмом на правом глазу урядник Козлика со всего размаха ударил учительницу шомполом по плечу и рассек платье. А потом люди бросились на Татьяну Григорьевну, крики смешивались со свистом шомполов и глухими ударами.

Пьяная орда навалилась на беззащитное тело, била ногами, руками, прикладами.

Когда учительницу подняли, все лицо ее было залито кровью. Она медленно вытирала бегущую по щекам кровь. Мы подняли руки, замахали ими в воздухе, но Татьяна Григорьевна не заметила нас.

— Не больно? — задыхаясь от усталости и отходя немного в сторону, спросил Козлика.

— Я тебя еще заставлю милости просить.

Тяжело дыша, учительница двинулась к уряднику и вдруг резко бросила ему в лицо:

— А ты не жди. У вас просить я ничего не буду.

— Веди обратно, — приказал Козлика, и, когда стража подтолкнула учительницу к тюрьме, он со всего размаха ударил ее прикладом по спине. Она упала лицом в густую, липкую грязь. Кто-то кричал, заставляя ее встать, но она, по-видимому, была без чувств. Тогда два казака схватили безжизненное тело за руки и волоком потащили к тюрьме.

Я весь дрожал от ненависти к белым.

Каждый вечер в течение двух с половиной недель я говорил себе, что больше никогда не пойду к тюрьме, и каждое утро я снова бежал туда.

Мы, ученики, собирались вместе. И в тот день, когда Татьяна Григорьевна замечала нас, мы плакали от бессилия и радовались оттого, что чувствовали себя ближе к ней. Ее пороли всегда первой, и ни одного из мужчин не били так жестоко. Ей мстили за то, что она не кричала, не просила пощады, а смело оглядывала своих палачей. Ее били за то, что она — учительница, образованный человек — ушла к большевикам и до последней минуты оставалась с ними.

Наступала зима. Теперь Татьяну Григорьевну выводили на двор в одной рубашке. На худом, покрасневшем от мороза теле ярко выделялись синие кровоподтеки и красные полосы от шомполов. На спине — загнившие раны.

По ночам меня душили кошмары, я вскакивал с постели и будил мать.

— Мама! — испуганно шептал я. — Мама! Они ведь убьют ее. Надо же помочь ей. Надо спасти. Отчего ее никто не жалеет? Мама, что за звери кругом!

Мать снова укладывала меня и долго сидела рядом, глядя по голове.

— Молчи, сынок, молчи, — шепотом говорила она и украдкой вытирала слезы. — Жалеют, да что сделаешь? Разве скажешь? Убьют они, кто голос подымет.

Я долго безудержно плакал...

□

В серое вьюжное утро, торопливо семеня ногами, к тюрьме с узелком в руках подошла старуха — Наталья Семеновна, мать учительницы.

Арестованных еще не выводили на площадь, но ребята были уже на своих местах.

Старуха нерешительно подошла к часовому и протянула ему какую-то бумагу. Не

читая ее, часовой кивком головы направил мать к старшему — уряднику Козлике.

Она долго объясняла ему, что имеет письменное разрешение атамана пройти к дочери и перевязать ей раны.

Козлика сидел со скучающим видом, точно старуха говорила не с ним, и тонким хлыстом ударял по сапогу, как это делал Калина.

— Не пуцу, — вдруг резко ответил он.

Старуха снова принялась уговаривать, протягивала бумагу с разрешением. Наконец урядник медленно поднялся и оглядел старуху с ног до головы.

— А ты чего же ко мне раньше не приходила? Или не видала, как твоя комиссарша у меня все зерно поотобрала, не слыхала, как в подводах его свозила? Так теперь, думаешь, меня жалость возьмет? Шкуру всю спущу ей, — горячился он, повышая голос. — Попомнит она Козлику. Нечего ей, бабка, раны перевязывать, все равно новые будут. Решено ее повесить, — издевался он. — Да так, чтоб всем видно было. Вниз головой повесим. Старуха охнула. Вдруг закричала:

— Изверги вы, проклятые! Пропасть бы вам всем!

Урядник повернулся к ней, схватил за плечи и, сильно тряхнув, отбросил старуху на землю. Она упала набок, платок сполз с головы, и по снегу рассыпались длинные седые пряди волос.

Козлика что-то крикнул. Двое казаков схватили мать за руки, двое навалились на ноги. Она билась по земле, извивалась, стараясь освободиться, но Козлика с размаху опустил па нее шомпол...

Вначале еще было видно, как судорожно откидывалась назад седая голова, а потом она поникла в снег. Серая юбка покрылась красными пятнами; они расходились все шире и шире.

Когда казаки встали и отошли в сторону, на земле застыла неподвижная старческая фигура: беспомощно торчали тонкие ноги в белых домотканых носках и мужских полусапожках.

— Померла? — испуганно спросил кто-то рядом с нами. — Мученица, святая.

— Отойдет, — поймал возглас Козлика. — Ничего, зато дочь повидает.

В это время скрипнула дверь, и на площадь вывели Татьяну Григорьевну.

Откуда — больная, измученная — брала она столько сил? На мертвенно-бледном лице выделялись огромные, горящие глаза. Все тело было в рваных ранах.

Люди напряженно застыли. Учительница заметила нас и быстро подняла руку вверх. Затем она оглянулась на Козлику, и мне показалось, что он слегка растерялся и, храбрясь и нервничая, крикнул Татьяне Григорьевне в лицо:

— Что, комиссарша, казачество у нас отнять захотела? Где же твои советы? Задрали хвосты и побежали? Всех дружков твоих поймали. А братьев в Моздоке повесили.

Учительница медленно оглянулась на него, переступая босыми ногами по снегу.

— Не торопись, — тихо сказала она. — Придут еще советы. Живы они. Сметут вас с лица земли. Только этих вот жаль, — указала она рукой на стоявших казаков-станичников. — Обманули вы их, белопогонники. Придет время — поймут они, что делали. А вам, белогвардейцам, пощады не будет.

Урядник подскочил к ней и медленно стал оттягивать прилипшую к телу рубаху. Струя крови побежала по ногам учительницы. Я видел, как от боли вспыхнули щеки у

Татьяны Григорьевны, видел закушенные губы. И в этот самый момент она заметила лежавшую лицом в снег старуху.

— Мама! — закричала она, и от этого крика холодная волна пробежала по всему телу. Учительница бросилась к матери, но ее обхватили, отталкивая от лежащей.

— Пропустите попрощаться! — крикнул подошедший атаман. Казаки отпустили руки, и учительница бросилась к матери.

Она упала перед ней на колени и, охватив голову старухи, приподняла ее и мелкими, быстрыми поцелуями покрывала окровавленное лицо.

— Мама!.. И тебя тоже, мама! — тихо, взволнованно повторяла она.

— Довольно! Прекратить! — снова раздался голос атамана. Учительницу оттащили в сторону.

— Звери вы! — громко крикнула она уряднику. — Все равно вас сметут! Гадины! Как ее били после этого!

— Хватит, а то забьете до смерти. А мы еще заставим комиссаршу на допросах говорить, — снова раздался голос атамана.

А когда учительницу волоком потащили к тюрьме, по снегу пополз за ней кровавый след.

ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ

«Сейчас, когда я пишу эти строки,
передо мной сидят трое моих
детей и спрашивают, отчего я плачу:

— Ведь тетя Таня завоевала нам
свободную жизнь. Почему же ты плачешь?»

(Из письма Раисы Соломахи, сестры Тани.)

Мне было тринадцать лет, когда красные отступили от нашей станицы. И вместе с ними ушли Таня и двое моих братьев — Григорий и Николай.

Сколько ночей до рассвета мы просидели в своей комнате с отцом и матерью и, слушая, как завывает в трубе ветер, плакали о тех, кто ушел!

Даже днем на улицу было страшно выходить. Ветер качал на столбах трупы повешенных станичников с большими остекленевшими глазами и синими распухшими лицами.

Кругом стоял плач и стон: белые жгли дома казаков и иногородних, которые ушли с

Красной армией, выгоняли сирот на улицу, и босые, раздетые ребятишки в стужу ютились около обгоревших развалин.

А за станицей, на полях, ветер шелестел неубранной кукурузой и потемневшими подсолнухами, и гнили, охваченные морозом, картофель, бураки и бахчи.

Рыскали за буграми голодные, одичавшие собаки, находили трупы станичников и пленных красноармейцев, которых белые не позволяли хоронить, и, рыча и огрызаясь, рвали на части застывшее человеческое мясо.

Меня нельзя было удержать дома. Я целыми днями бегала по станице, а к вечеру приходила домой и рассказывала отцу о том, что видела. Мне хотелось плакать, слезы подступали к горлу, но я сдерживалась при больном.

Мы вместе с матерью ухаживали за ним и старались как-нибудь отвлечь его мысли от Тани.

... Я видела, как белые привезли больную, измученную Таню. Я видела, как ее пороли. Дрожа от ужаса, я вглядывалась в родное, милое лицо и прислушивалась к ударам плетей. Мне хотелось броситься к Тане, защитить ее от ударов, быть около нее, как-то помочь ей. Только через неделю мне удалось пробраться в тюрьму. Каждый день на рассвете мать будила меня, давала завязанную в тряпку посуду с едой совала за кацавейку бутылку с аракой.

Иногда по дороге меня останавливали женщины и, оглядываясь, украдкой давали мне какой-нибудь гостинец для Тани.

Когда около часового никого не было, я поспешно совала ему в руки бутылку. Он торопливо открывал дверь и, как котенка, сталкивал меня в помещение. Я с размаху падала на цементный пол, стараясь сохранить еду, которую посылала мать. Спертый, кислый воздух ударял в лицо. Люди с ужасом оглядывались на скрип двери. Каждый ждал, что пришли за ним. По ночам белые целыми партиями уводили куда-то арестованных, а наутро тюрьма наполнялась новым народом. Каждый ждал своей очереди днем и ночью.

Тюрьма была тесное, маленькое каменное помещение, до отказа набитое арестованными. На холодном полу лежали больные, а здоровые не имели места для того, чтобы прилечь.

Я всегда с ужасом всматривалась при свете маленького коганца в темные, засохшие пятна на стене, и мне казалось, что там тоже была и танина кровь.

Я осторожно пробиралась между лежащими и усаживалась около Тани. В первые минуты я не могла разговаривать и только молча гладила худые, с голубыми прожилками руки. Таня тормошила меня и старалась развлечь шуткой.

Иногда она показывала свои раны и рассказывала, как на допросах издевался и бил ее дулом револьвера офицер Михайлец.

Я часто просила ее, чтобы она не грубила белым:

— Если так будешь, убьют они тебя. Не надо, сестренка.

— Все равно убьют, Раечка, — усмехалась она. — Не оставят они меня в живых. Я хочу, чтобы они увидели, как умеют умирать большевики.

Заметив дрожащие губы и полные слез глаза, она трепала меня ладонью по волосам и старалась успокоить:

— Ничего, девочка, не так это страшно. Вот глупо я в плен попала — это да. Надо было послушаться Николая и не плестись за армией. Тогда бы все иначе сложилось.

Она часто спрашивала меня о больном отце, о матери, наказывала получше ухаживать за ними и просила, чтобы они не волновались за нее:

— Так я спокойнее буду.

Как хорошо к Тане относились арестованные! Как они прислушивались к каждому ее слову! Они старались поудобнее устроить Таню на холодном полу, подкладывая под нее свою одежду и тряпки.

— Не надо, ребята, — говорила она. — Ведь у вас же самих ничего нет. А мне и так лежать неплохо.

Но они все же настаивали на своем и осторожно, боясь прикоснуться к израненному телу сестренки, каждый день перестилали ей подстилку.

Иногда она собирала их около себя и долго рассказывала о партии, о борьбе с белыми, о Москве, о Ленине:

— Советы временно отступили, они крепки, скоро вернутся, и тогда будет новая, прекрасная жизнь. Нас могут убить белые, товарищи, к этому надо быть готовыми. Но дело наше не умрет. Надо только стойко переносить все пытки, чтобы весь народ увидел, что мы сильны, что нас сломить нельзя.

Я не понимала, почему, когда Таня говорила о смерти, товарищи становились спокойнее. Может быть, она заражала их тем, что горело в ее душе, заражала своей силой и выдержкой.

Ведь среди них не было больше женщин.

Часовой часто стучал прикладом в дверь, приказывая замолчать. Но Таня не обращала на него внимания.

Я ее иногда страшно ревновала к товарищам. Я хотела, чтобы она была только со мной, чтобы ее слова были только для меня, и я чувствовала обиду оттого, что она не отдавала мне всего своего времени.

И только уже гораздо позже я поняла: Таня обрабатывала каждую новую группу арестованных, уговаривала каждого товарища стойко и крепко держаться во время порок.

Поздно вечером я подходила к дому с мыслью о том, не случилось ли чего с родителями.

Отец выходил из своего угла, с трудом волоча больную ногу, и, присаживаясь около

стола, подробно расспрашивал меня, как Таня держит себя во время порки. Отец взволнованно слушал, и я чувствовала, что он гордится такой дочерью, как Таня. Потом он долго молча сидел, и я с болью смотрела на седую, непрестанно качающуюся голову.

Однажды вечером, выслушав меня, он позвал мать и тихо, не глядя на нас, сказал: — Если с Таней что-нибудь случится — не надо плакать. Мы не должны им показывать своих слез. Пускай не радуются. Таня не хотела бы этого.

А по ночам я слышала, как на кровати ворочался отец. Скрывая от нас горе, он потихоньку до утра плакал.

Последний день я провела с Таней до поздней ночи.

Когда я присела около нее, меня испугало непривычно строгое лицо и плотно сжатые губы. Таня лежала с закрытыми глазами. Я смотрела на покрытые гнойными струпьями распухшие ноги, на огромные синяки под глазами и рассеченную, припухшую губу.

Таня вдруг застонала, заметалась и, привскочив, широко открыла глаза. И теперь в них не было обычной теплоты и ласки.

Она с ужасом оглядывала темные, сырые стены и вдруг, точно поняв, где она и что с ней, тяжело вздохнула и опустила голову на подстилку.

В первый и последний раз в жизни я увидела в ее глазах безграничную тоску и только теперь совершенно ясно поняла, как горячо и безудержно хотелось Тане жить.

Заметив меня, она необычайно обрадовалась и, крепко схватив мои пальцы, приложила их к горячему лбу.

Ей, видимо, было невыносимо тяжело.

Сквозь разорванное платье я видела грудь, ноги и все тело Тани в кровоподтеках и ранах. Многие были глубокими. Они, должно быть, сильно мучили ее.

Я вытащила захваченный из дома бинт и хотела перевязать раны.

Таня открыла глаза, чуть заметно улыбнулась и слабо закачала головой.

— Не надо, — тихо сказала она. — Теперь уже бесполезно, — и вдруг, схватив край рубахи, резко дернула его — хлынула яркая струя крови.

Таня глухо застонала.

Я не спускала взгляда с бледного лица.

— Зачем ты себя мучаешь? — вырвалось у меня.

Она прислушивалась к шуму в коридоре. Мне показались отдаленные шаги.

— Лучше сама, — торопливо сказала она, и в голосе ее послышалась тревога. — Они отрывают нарочно медленно. Быстрее рвать легче...

Топот приближался по коридору. Таня быстро повернулась ко мне:

— Лезь скорей под нары, а то заметят тебя здесь. Это за мной. Я еле успела

спрятаться.

Чей-то резкий голос стал выкрикивать фамилии. Среди вызванных была Таня.

Ее под руки вытащили из камеры.

Тут же за дверьми, в коридоре, началась порка товарищей; звякали шпоры—по-видимому, били ногами.

Я заткнула пальцами уши, судорога сдавила горло.

Скрип двери привел в себя. Что-то тяжелое прогрохотало по ступенькам лестницы.

Кто-то громко, истерически заплакал. Я не выдержала и выскочила из-под нар.

На полу, разметав руки, неподвижно лежала Таня. Я бросилась к ней, трясла ее за плечи, подымала голову, чувствовала на ладонях горячую, липкую кровь и с ужасом всматривалась в мертвенно-бледное лицо.

Несколько человек бросилось к Тане. Я видела кругом испуганные лица, дрожащие пальцы, и мне показалось, что уже все кончено.

Таня вдруг тяжело вздохнула и открыла глаза. Осторожно, точно маленького ребенка, товарищи подняли ее на руки и бережно положили на место.

Я уселась около нее и стала прикладывать ко лбу холодную, мокрую тряпку.

Надо было взять себя в руки, чтобы как-то облегчить тяжелое состояние Тани.

Когда она открыла глаза, серые сумерки вползли в камеру сквозь узкое, маленькое окно.

Кто-то из товарищей зажег коганец, и темная струйка копоти заметалась, подымаясь к потолку.

Мы долго молчали. Таня о чем-то сосредоточенно думала. Я прилегла рядом с ней и, прижимаясь, старалась ее согреть.

Она снова спрашивала об отце, об избитой матери, о том, что не разрушили ли белые хозяйство.

— А о братьях ничего не слышно? Волнуюсь я за них. Живы ли? — тяжело вздохнула она и крепко сжала мою руку.

— Вот что, сестреночка, — снова начала Таня немного погодя; я почувствовала необычайно серьезные нотки в ее голосе — так она еще со мной никогда не говорила.

— Хочется мне сегодня поговорить с тобой как с большой, как с другом.

Волнение охватило меня; хотелось навсегда запомнить каждое слово, каждую фразу сестры.

— Я думаю, что сегодня ночью меня убьют, — тихо, так, чтобы не было слышно окружающим, сказала она.

— Зачем ты так говоришь? — перебила я ее. — Разве они могут убить такую больную, как ты? — убеждала я Таню, стараясь отогнать от себя страшную мысль. — Не может этого быть, Танюша. Напрасно ты об этом думаешь.

— Не надо волноваться, — гладила она меня ладонью по волосам. — Может быть, мы с

тобой сегодня в последний раз разговариваем. А мне так много хочется сказать. Как бы мне хотелось увидеть то, что будет потом, когда мы победим. И мне грустно оттого, что я не могу этого сделать. Но помни, Рая, что смерть, которую мне готовят, — это почетная смерть.

Я смотрела на пламя коганца, и мне казалось, что оно так же билось и металось, как Таня.

Скоро придут наши... красные... Я не увижу братьев. Расскажи им подробно все, что ты видела здесь. Пусть они передадут всем, как меня пытали, как мучили и как я умерла. Я никого не предала, и до конца осталась верным членом партии. И пусть братья знают, что я их очень сильно любила. Пусть крепко помнят мои заветы и так же до конца будут преданы партии.

Сквозь застилающие глаза слезы я видела, как тяжело поднималась ее грудь и сдвинулись темные тонкие брови.

Она молча лежала, стараясь успокоиться. Мне показалось, что её голос дрожал, когда она говорила со мной.

Неожиданно она прижала меня к себе, заглянула в глаза.

— Рая, скрой от отца, — поспешно шептала она, — не говори ему, пока братья не придут. Пожалей его. Не выдержит он. Умрет.

Я разрыдалась, только теперь почувствовала, что у нее остались последние часы жизни. С материнской нежностью она обнимала, ласкала, целовала меня и даже шутила — больная, вся в ранах.

Я чувствовала ее поцелуи у себя на лице, на груди, на руках, чувствовала ее горячее, сильное объятие.

На мокром цементном полу громко застонали, рядом кто-то сдержанно заплакал. В дверь постучал часовой.

Мы поняли, что мне надо уходить.

— Ты скажи нашим, что мне очень и очень легко, — торопливо говорила она, — Я счастлива так, как никогда.

Она снова погладила меня по волосам, взглянула в глаза и крепко поцеловала и губы. Кто-то оторвал меня от Тани и вытолкнул в коридор.

А когда на другой день я пришла к тюрьме, часовой не впустил меня к Тане. Я плакала, просила, умоляла его.

— Да уйди ты, честью прошу, — уговаривал он меня, пряча в сторону взгляд. — Начальством пускать не велело.

Я не заметила, как сзади подошел Козлика.

— Нечего тебе тут околачиваться! — грубо крикнул он на меня. — В расход комиссаршу вывели.

Вот что я узнала о ее смерти.

На рассвете седьмого ноября казаки ввалились в тюрьму. Все поняли, зачем они пришли. Кто-то закричал, заплакал, кто-то забился на полу. Таня вскочила сама. — Тише! — крикнула она.— Не надо плакать! Вы не одни, товарищи! Мы вместе все пойдем!

А когда арестованных начали прикладами выгонять из камеры, Таня у двери обернулась назад к тем, кто оставался.

— Прощайте, товарищи! — раздался ее звонкий, спокойный голос.— Пусть эта кровь на стенах не пропадет даром. Скоро придут советы!

В раннее морозное утро белые за выгоном порубили восемнадцать товарищей. Последней была Таня.

У нее, еще живой, сначала отрубили руки, потом ноги и затем голову.

Верная своему слову, она не просила пощады у палачей. Так могут умирать только большевики!